

Сюинши

Продолжу, если угодно людям и тем сорока странникам, кто знает ¹. В тяжкий год Коня ², скажу, и месяц – акпан ³, верховный главнокомандующий фронтом товарищ Сталин направил к казахам специальным самолетом посланника с известием, что враг под Сталинградом разгромлен и к весне Гитлеру вообще будет конец. Так оно и случилось. Мне, прозванному Маке Говорливый, лично предстояла честь встретить и принять на ордынской земле московского вестника. Многие помнили об этом... да ушли в иной мир. Говорят, дочь Калибека жива еще... не слышал, сынок? Она должна помнить. Живет, говорят, себе в городе, в Гурьеве. Как ее там комары не съели! До чего красивая была. Султаны и астраханские купцы приезжали взглянуть на нее, да не могла, бедняжка, забыть одну нашу встречу...

Так вот, в тот бедственный месяц акпан стало нам особенно тяжело. Фашист стоял уже на Волге, от нашего аула всего-то день и край ночи на хорошем скакуне.. Да-а... месяц акпан... Есть в народе и второе название – ак баскын. Точнее и не скажешь – «белый грабитель». Снег теряет в это время свою пушистость и белой коркой покрывает степь, не добраться скоту до подснежных трав, только копыта себе ранит. Одним словом, мор и джут ⁴ в феврале ждут. И с запада насаждает грабитель, и у нас тут... и стар и млад не знали сна, были заняты одним: спасали скот. Тогда, после семи дней неистовых буранов установилась ясная погода. Лед озер у нашего поселка был ровен и чист. На него и опустился тот серебристый самолет, заскользил и, как по знакомой дорожке, выкатил прямо к нашим домам на пологом берегу. Вначале я подумал, что пожаловало какое-то высокое начальство из Уральска, а может быть, даже из Оренбурга, и решил, как председатель аульного Совета, встретить гостей. Вот и поспешил к ним навстречу. Конечно, все остальные, особенно женщины, испугались, попрятали своих детей. Видели они самолет впервые, а этот вовсе особенный, с пушкой. Решили, что война докатилась и до нашего порога.

Иду я, а тут на крыле самолета появился человек в меховой куртке, весь перетянутый ремнями, встал в полный рост, вытянулся, как гусь, и крикнул: «Сүйінші!» Конечно, тут же вокруг самолета собрались люди. Куда только

¹ Суфийские святые, следящие за миром.

² 1942 год.

³ Февраль.

⁴ Гололед на степных пастбищах.

страх подевался! А летчик, все еще повторявший свое «Сүйінші! Сүйінші!», наконец смолк, засмеялся, а потом заговорил – прямо как диктор по радио: «От Советского... этого... Информбюро! Сегодня при содействии войск...» Каких именно, этого я не помню, да это и не важно. Важно то, что он сказал: фашистских гадов в упорных и кровопролитных боях разбили, окружили и всех засунули в один казан. А генерал немецкий Палыс сдался, подписал капитуляцию всей своей армии. Сказал все это летчик и спрыгнул к нам с крыла, украшенного звездой. Люди его подхватили, стали обнимать, многие плакали. Хотя... разве можно человеку сразу понять, осознать важность такого известия? Только очень уж заразительно было торжество того парня. Стал я успокаивать людей, как бы еще на радостях не повредили что-нибудь, все же как-никак – посланец из Москвы. А сам, не стыжусь этого, так сильно затосковал. Почему-то я решил, что этот парень видел там, на фронте, моих сыновей. Ребят моих трудно не заметить, да и этот парень, видно, всюду летает. Сейчас самолетов много. Может, наступит такой день – и мне дадут самолет, чтобы я... смог найти своих мальчиков... Да-а... Продолжу: успокоил я людей, и хотел было сам обратиться к летчику, а он все по сторонам смотрит да вдруг спрашивает: «Маке-ата, а где моя мама?» Все в изумлении застыли. «А как ее зовут? – спросил я. – Уж прости меня, стар я стал помнить всех». А он отвечает: «Балжан». Вот тебе и задачка. Жила у нас женщина Балжан – это правда. Но детей у нее вроде и не было никогда. Видят все святые духи, не было у нее сына. Посмотрел я на жену Амана – еще та баба, все про всех знает, как аНКабиДа⁵ – вижу по ее удивленному лицу, что и она не слышала даже о том, что Балжан когда-нибудь рожала. Наверное, парень заблудился. Еще бы, как тебе найти верно дорогу, там ведь нет никаких примет, как в степи, ни лесочка, ни одинокого мазара, ни редкая трава-вечерница, растущая только в бозулукской впадине.

Они, замерев, сидели на двух тесно сдвинутых койках и в полумраке казармы казались друг другу посвященными рыцарями единого тайного братства, возможно даже пиратского. «Вот так мы на чердаке с пацанами курили», – хотел прошептать Снежков, но не решился. Любой скрип, шорох заставлял всех вздрагивать. Каждый старался сидеть тихо, прислушиваясь к собственному дыханию. Капитан Холодный, скинув унты, широко и спокойно, как сугроб в овраге, спал. Иногда капитан всхрапывал, и тогда летчики эскадрильи тревожно косились в его сторону. Но вновь наступала тишина, какая бывает разве что на минном поле.

Ждали Серегу Ковалевского, ждали уже долго. Казыбек, сидевший лицом к двери, еще раз развернул правое запястье и взглянул на циферблат часов, на котором умелой рукой было выведено: «Смерть фашистскому гаду!» и почему-то пририсована роза. А стрелки показывали, что Ковалевский выбежал из комнаты двадцать шесть минут и двенадцать секунд назад. Часы появились у Казыбека в день его первого боевого вылета, два месяца назад.

⁵ НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР.

В тот день, вернее темное зимнее утро, командир эскадрильи, инструктируя новичков перед вылетом, долго и с раздражением останавливал свой взгляд на нем. Курсантская гимнастерка, в которой прибыл в часть новоиспеченный младший лейтенант, была ему явно мала, из рукавов ее торчали длинные худые запястья. Капитан Холодный не терпел и не допускал даже малейшей неаккуратности в одежде ни у себя, ни у подчиненных, не говоря уже о том, что кто-то может сесть в кабину самолета в грязной форме. Но посылать вчерашнего курсанта в хозчасть не оставалось времени, только после боя. Капитан закончил изложение поставленной перед эскадрильей задачи уже в скверном настроении. С кем вылетать? В строю стояли малопонятные ему безусые мальчишки. Мальчишки, которые вне всякой логики, а значит, хаосом войны были вознесены в ряды авиационного клана, доступного только избранным.

– Все. Вольно, разойдись. Младший лейтенант Мусин, ко мне. – Холодный колдовал над картой в открытой планшетке и, поднимая взгляд на подошедшего к нему Казыбека, опять увидел заголенные чуть ли не до середины руки летчика. «А ведь он растет», – вдруг подумал он и вместо резкого выговора, не ожидая того сам, достал из нагрудного кармана кителя наручные часы:

– Принять, Мусин! – сухо и недовольно произнес капитан.

– Есть принять! – лихо ответил Казыбек.

Молодой летчик решил, что часы – обязательный атрибут индивидуального снаряжения, и стал относиться к ним серьезно, как к приборам самолета, точно отмечая вплоть до секунд показания стрелок. Глядел он на часы не только во время полета и на взлетной полосе, но и в столовой, на улице и даже ночью в постели: циферблат зачаровывающе светился фарфоровыми ниточками и точками.

Любовь к часам возникла у него давно, когда он десятилетним мальчуганом спросил у уездного агитатора, имевшего на всю округу единственные ручные часы, о силе и воле которого среди местных жителей ходили легенды: «За что награждают часами?» Агитатор авторитетно заявил: «За героическую преданность женщинам». «И маме?» – уточнил Казыбек. «Особенно маме», – уже строго и наставительно добавил уездный герой. Конечно же, ребята не могли не заметить такой прекрасный механизм на руке товарища. Стали спрашивать: чем и как он угодил капитану. Казыбек удивился и сам спросил:

– А вам что – не выдали?

– Ну, ты даешь! – присвистнул Сергей. – Ты что, не знал? Такие часы – дело личное. Это же часики его единственного брата. Артиллериста. Он здесь, на правом берегу, погиб. Фрицы прямо миной в расчет, так что от Холодного-младшего только два сапога да руна с часами остались. И эти часы старшему передали.

Казыбек побледнел и сгорбился, как от удара ладонью по затылку, так

стыдно ему стало за свою близорукую глупость. Он снял с руки часы и при первой же возможности протянул их капитану Холодному, хотел извиниться, но только и произнес:

– Возьмите...

Капитан устало взглянул на него, на часы, выигранные им в госпитале у разведчиков в карты, и ответил:

– Отставить.

Отходя от застывшего юноши, капитан невольно притронулся к грудному карману своего мундира, в котором хранил часы брата с ремешком, пропитанным кровью и с беловатыми точечками, наверное, от костного мозга предплечья.

Казыбек не способен был принять мысль, что только что капитан Холодный отказался от памяти о братишке, и стал уверять себя, что этому есть свое объяснение. К тому же над сердцем еще продолжала, пусть слабенько уже, но пульсировать в аорте радость от обладания таким прекрасным и очень нужны в бою часовым прибором. Как спидометр. И очень любил Казыбек, когда у него спрашивали время. Тогда он смотрел на часы, оттягивая пальцем край рукава, что спрашивавший должен был обязательно видеть полностью на его запястье этот прекрасный и точный механизм. И когда Кобалевский спросил его: «И что теперь будешь делать с часами?», он ответил: «Ни шагу назад!». И этот его ответ вызвал у обоих друзей улыбки.

28 июля 1942 года во всех воинских частях и военных училищах Красной армии был зачитан Приказ [Народного комиссара обороны СССР № 227](#), ставший известным, как Приказ: «Ни шагу назад!». Приказ ужесточал дисциплину в Красной армии и категорически запрещал отход войск без приказа. Нарушившие Приказ объявлялись изменниками Родины и направлялись в штрафные подразделения. Приказ № 227 представлялся грозным и самым насущным. Но 16 августа 1941 года появился Приказ № 270 [Ставки Верховного Главнокомандования СССР](#) от «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия», подписанный тов. Сталиным, нарушители которого могли быть расстреляны на месте, при этом они признавались дезертирами, а их семьи подлежали аресту. И конечно же Приказ № 227 скрыл своей смертельно устрашающей тенью Приказ «Ни шагу назад!». В Приказе № 227 были такие слова: «Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности». Летчики! Цепляйтесь за каждое облачко! Смешно и, вообще, они выше всякого такого, им о долге напоминать категорически излишне.

Сереги Кобалевского не было уже два часа двадцать девять минут и четыре секунды. Да где он шатается?! Но здесь, надо признать, у Сергея была тайная причина для такой долгой задержки. Он заскакивал на минутку в блиндаж к зенитчицам с надеждой все-таки завалить кудрявую москвичку, а

провозился час. Ему удалось заманить ее в закуток с умывальниками, но она снова только отбивалась: «Успокойся ты... Не все девчонки спят. Вон Тося только притворяется. Руки убери!» Об этом инциденте Сергей Кобалевский решил не упоминать.

Наконец в коридоре послышался топот унт и в комнату ворвался Сергей. Он с силой, зло бросил сорванную с головы шапку и шагнул к углу комнаты. Все замерли в тревоге. Капитан Холодный заворочался на своей койке и с хрустом в костях потянулся на постели. Снежков зашептал Кобалевскому:

– Взял? Че молчишь? Ну, взял?

Сергей вполголоса произнес:

– Нет. Усек меня полковник, выходил из блиндажа отлить и усек! Пригрозил взысканием. За мной, говорит, не заржавеет.

– У-у! Кретин! – пробурчал Снежков. – Мы же тебе час втолковывали: близко к штабным не подходи. Стой и жди, когда начнут сменяться телефонистки и за ними.

Сергей подумал с досадой: «И, правда, надо было действительно в блиндаж к телефонисткам...». Но и этим соображением не поделился с товарищами.

Капитан Холодный старался не прислушиваться к громкому и резкому шепоту летчиков. Около часа назад, когда они вернулись в этот раз без потерь с боевого вылета, по полку прошла проверенная новость: подписывается Акт о капитуляции немецких армий под Сталинградом. Капитан как бы не понял ее. Долгие, вязкие, казалось бы, не имевшие исхода, месяцы Сталинградской битвы странно отразились на сознании Холодного, притупили его чувства. Он не только просто не говорил о победе, но и не думал о ней, не предсказывал ее день. Так человек в запале своих сил, каменотес или горняк, оказавшись в заваленном тоннеле, рубит и рубит, ни о чем не думая, ничего не желая ... и не может остановить себя.

Шепот переходил в гвалт.

– Есть идея! – вскрикнул Кобалевский.

– Тихо ты! Ну, только суть, – оборвал его Снежков.

– Когда я крутился у штаба, там, между прочим, шатались парни и из других эскадрилий. А Петрухов даже ... Ну, Петрухова вы знаете, ну тот, который на прошлой неделе над Татаркой сразу двух мессеров сбил. И очень даже просто. Он одного прошел, ему второй в хвост зашел, ну а он быстро сообразил и тут же упал метров на семьсот, а фриц тоже не дурак, ясно, ас, пикирует на него, а Петрухов видит такое дело...

– Знаем, знаем, ты дело давай, – торопили его ребята.

– Так вот, этот Петрухов даже с одним штабным парочкой словечек перекинулся. Корешка его я сразу усек.

Приблатненный дворовый жаргон нескладного, сутулого молокососа Кобалевского неприятно резал слух Холодного. В его понимании летное искусство было привилегией интеллигентных профессионалов. Летчик предвоенных лет был даже не законодателем мод, а образцом новой, молодой,

чистой советской культуры. В сорок первом воевали еще профессионалы, но где они теперь? Прежние однополчане Холодного почти все погибли. Согласно статистике, военные летчики погибали после восьмого-девятого воздушного боя. Из прежних, давних товарищей капитана остались в живых только двое. Один из них всего неделю назад лишился глаз в горящем бомбардировщике, другой – Алексей Петрович Петров – был рядом, в штабе полка, как раз там, где ему, прирожденному штабисту, и полагалось быть. С Петровым Холодный задолго до войны окончил вместе летное училище и, хотя они вместе начинали службу в одной эскадрилье, близких, дружеских отношений у них не сложилось: во многом они с Петровым были похожи. Может, поэтому и Холодный, и Петров были аккуратны, педантичны, совестливы и жестко требовательны как к себе, так и к окружающим. Оба лично знали свои особенности, ценили их друг в друге, но не сходились, а как-то старались держаться на расстоянии.

В сорок втором на аэродром стало приходить другое племя. Мальчишки, почти со школьных парт, из ремесленных училищ. Глуповатые, болтливые, с приторно-жалким запахом пота еще-не-мужчин. Треп этих жеребят продолжался, кажется, вечно.

– ...к соседям, может, они знают? Петрухова не спросил?

– Говорит: так, мимо проходил.

– И ты отстал?

– Да нет. Прямо я, конечно, не спрашивал, не дура, Как, мол, Петрухов. Не слышал? Говорит, не слышал.

– Ясно, темнит.

– Тут надо было «ни шагу назад», а не с кудрявой.

Послышался смех.

– Ну, есть идеи?

– А мы теперь официально. Пойдем делегацией. Так, мол, и так. Кто что знает – на кон. Имеем право знать.

– Фигня! Тут бы к командованию пойти... пацаны, а если.., – шепот перешел в тихий гул. Капитан Холодный встал и, сунув ноги в унты, направился к умывальнику ополоснуть лицо. До него теперь доносились лишь отдельные слова: «...не, не пойдет... Петров... он ему должен был сказать... ты иди... почему я?!»

Капитан Холодный внимательно разглядывал в зеркальце свой чисто выбритый подбородок и решил побриться. Когда он потянулся к своей тумбочке за бритвенным прибором, к нему подошел лейтенант Кобалевский. Держался он робко и в то же время развязно:

– Товарищ капитан, разрешите обратиться. Тут мы просим Вас... направить делегацию прямо в штаб. От всей эскадрильи. Вам-то уж не откажут. Имеем право знать. Ну о капитуляции. Тем более говорили, что вы с майором Петровым вместе...

Капитан Холодный прошел мимо Кобалевского, бросив на ходу:

– Отставить. Шапку поднять.

– Есть.

Кобалевский оглядел вокруг себя пол. Никакой шапки на нем не валялось. Ребята, стоявшие за ним, молча разошлись по своим койкам. Между ними и Холодным недоумением повисла тишина. Какая еще шапка? Всеми овладело чувство незаслуженной обиды, постепенно оно переросло в слепую юношескую неприязнь к старческой эмоциональной тупости человека, перед мастерством которого они преклонялись и которому были все подвластны. Неприязнь стала злостью. Ишь ты, бреется! И как можно быть таким бесчувственным? Правильно, и фамилия-то у него – Холодный. Чурбан! Даром что ас. И что за шуточка с шапкой?

Капитан Холодный протер тройным одеколоном выбритые щеки, надел меховую куртку и вышел из казармы.

Ребята вновь зашумели. Больше всех горячился Кобалевский.

– Я не понимаю! – почти кричал он. – Почему скрывают от нас, боевых офицеров? Всякая там штабная крыса знает, а мы нет. Может быть, для меня это дело – все в жизни. Не было у меня другого. С Нахаловки приходили пацаны мировую просить, так это чо? Хотя мы с ними год в кровь бились. Я с держимордой ихним, Ленькой, вместе призывался, думал тогда, что страшнее, сволочнее этого Леньки и на свете нет. Конечно, ясно, фашисту под Сталинградом голову не поднять, все – котел и точка. Но кто его знает, этого подлюку Паульса, вдруг заерепенится: мол, не подпишу?! Нам-то, конечно, наплевать, подписывай – не подписывай, все равно пиши пропало. Но ведь это самый смак! Слово-то какое четное: ка-пи-ту-ля-ция!

– Подпишет, куда денется, – отвечали ему.

Да и он сам убеждал всех:

– Подпишет гад! Уж мне поверьте. Он кто, хоть фельдмаршал, но гнида. Знаете, как его взяли?

Все знали, но никто не был против, чтобы Кобалевский еще раз с приятным для всех удовольствием рассказал историю пленения немецкого главнокомандующего.

– Точно говорю, ворвались наши пеходралы туда, значит, это я вам про фашистский штаб. Туда-сюда, а Паулюса нет. Наши очень расстроились. Вот так штука. А штаб у них в бетонном бункере...

– В подвале универмага, – не выдержал кто-то.

– В подвале, точно.

– Да какая разница? Главный штаб, как положено, роскошь всякая. Наворовали у нас в музеях. Картины разные, ковры даже, все для такого зверья, ну и клозет, естественно, теплый. Аккуратно, как и положено: для мужиков и для баб. Солдатики в мужской заглянули, а мимо женского прошли. А была там среди них медсестра, она и зашла по надобности. Смотрит, а на очке фриц сидит! Паулюс. Так и попался, засранец. В клозете прятался. От нас не спрячешься!

– А-а... ерунда все это, – заметил Снежков, укладываясь спать. – Капитуляция, не капитуляция, воевать надо, и все. Война есть война. Хватит,

пацаны.

– Война войне рознь, – ответил ему Кобалевский. – У нас она какая? Освободительная! Поэтому должна быть торжественной.

Все поддерживали Серегу. Лишь Казыбек сидел нахохлившись, как кречет. Кобалевский протиснулся и нему и тихо спросил:

– Ты что? Болит что?

– Думаю, – ответил так же тихо Казыбек.

– Тоже мне, мыслитель! – обиделся Кобалевский, поняв, что дружок его не слушал, но, любопытный, тут же поспешил спросить. – О чем думаешь-то?

– Отсюда до нашего поселка лететь всего-навсего полчаса... Он ведь рядышком, между Волгой и Уралом. Даже к Волге ближе.

Сергей спросил еще задушевней:

– К маме хочется?

– Да, хочется, – твердо ответил Казыбек.

Кобалевский опустил глаза, промолчал. Ему тоже очень хотелось к маме, но он даже не знал: жива ли она там, в Симферополе. Мать Сергея еще до войны тяжело и неизлечимо болела, было трудно с лекарствами, дорогими, с мудреными названиями, но искали, покупали на рынке втридорога. А сейчас ... вряд ли они стоят на ее столике у кровати. И что обидно, те самые, нужные ей таблетки поступали из Германии.

Вот так, сев близко, лицом к лицу, Казыбек и Сергей, словно продолжая беседовать, молчали и думали каждый о своей матери.

У маленького, с плоской крышей, окраинного дома мужчины аула не задерживались. Неприветлива была к ним хозяйка, да и стоило одному из них заглянуть во двор, как на порог дома тут же выбегал остроносый мальчуган и, зло смотря исподлобья, сжимал кулачки, кричал:

– Чего тебе? А ну, иди отсюда!

А если пришелец упорствовал и шел к двери, мальчишка отбегал в сторону и, подхватив с земли камень, метко и сильно бросал в него.

Мужчин аульного поселка Казыбек возненавидел рано и люто, как только стал чуть догадываться о какой-то тяжелой беззащитности матери перед ними. В поселке жили и другие одинокие женщины с детьми, но все они были вдовами и окружены близкими родственниками. Не каждый мужчина решился бы обратить на них свой игривый взгляд. А мать Казыбека, хоть и была своя, но, осиротев в пятнадцать лет и узнав, что сердобольные женщины подыскивают ей подходящего мужа, никому не говоря, ехала в Уральск, но лет через семь Балжан вернулась с грудным ребенком на руках, найдя приют у дальней родственницы, старой ворчливой, всеми оставленной бабки. Та пустила ее под свою дырявую крышу, но узнав, что мальчик родился без отца, принялась мелочно и обидно изводить незваную племянницу, однако скоро умерла, оставив непутевой саманный дом на отшибе. И тут же один за другим заспешили туда мужчины: выпить кесе чая из рук казавшейся им доступной красивой и свободной женщины. Но никому

не удалось задержаться в нем хотя бы на вечер, и они становились грубее, наглее, видя в ее увертках и отказах нечто оскорбительное для себя. Встречаясь с ней на улице, хватали за руку, стараясь прижать к груди, громогласно и оскорбительно отзывались о ней. И в глаза и за глаза. А как же еще к этой городской в крепдешиновом платье относиться?

А женщинам она не сразу, но понравилась. Была веселой и отзывчивой, всегда находила время выслушать любую, посочувствовать, всплакнуть вместе, и что привлекало особенно, Балжан была хорошей рассказчицей. Удивительные истории могла передавать, представляя героев в лицах, меняя тембр голоса и примолкая в самых волнующих местах. Она, без сомнения, много читала там, в городе, и обладала четкой памятью, иногда даже мешавшей повествованию, когда она увлекалась сама, начинала почти дословный пересказ знакомого ей романа, любимой книги. В эти минуты она представлялась женщинам явлением иного мира, полного чудес. Они удивлялись и готовы были слушать часами о том, как человек жил один на острове в океане, лишь время от времени переспрашивая, что такое «юнга» или «негр». Также оказалось, что она не только много читала, но и успела в городе окончить медицинские курсы, могла снять жар у ребенка, унять боли в животе, вправить вывих, посоветовать при женских затруднениях. Они и любили ее, и ревновали к своим мужьям. Замуж она не выходила, хотя случаи для этого были. Ведь не случайно мужчины были так навязчивы. Глуповатый, скандальный и крепкий муж ее единственной двоюродной сестры при ней затихал и радовался, как большая собака. Сестра, неряшливая мечтательница, было вначале заревновала, но мужа своего боялась и ненавидела. И легко смирилась с его сердечной изменой, тайно надеясь на то, что, может быть, теперь он ее оставит в покое. Однако дело затягивалось, и, уже не рассчитывая ни на что, разревелась на коленях у Балжан, умолая: «Забери, забери ты его у меня, забери... Бьет от меня, бил всегда и, наверное, убьет. У меня и печень болит, и вот здесь. Все отбил. А тебя не тронет, он тихий с тобой. А меня никогда не жалел, даже когда девушкой была. Все ему не так, увидит ложку на полу, бьет, присяду подумать о хорошем – бьет...».

Приходил сватать своего старшего сына и старик Make. Долго он молча сидел за дастарханом, костяшками пальцев оглаживая свою жидкую бороду – от кадыка к высокомерно сведенной щелке рта, но позже выложил свои предложения сразу и ясно:

– Сына ты моего знаешь, и люди знают, не только люди, вся Советская власть знает... Так что с ним будешь хорошо жить.

Услышав в ответ разумный отказ, неожиданно повеселел:

– Правильно рассудила. Слишком молод он для тебя. Что тут говорить. Народ зовет меня Make Говорливый, а сейчас не поется у меня речь, и все тут. Да... Ну, тогда, если не желаешь выходить замуж за моего сына, выходи за меня. Ты ведь знаешь, милая, я уже год, как вдовый. Ты не бойся, я еще полвека проживу. Сына твоего подниму на ноги, станешь всеми уважаемой. А? Нет, значит, ладно, мне и одному неплохо.

Когда Казыбеку пошел пятый год, в поселке открыли больничку. Мать стала работать там. Приехал фельдшер, седоусый громогласный башкир. Через день мать брала Казыбека с собой на работу в свеже сложенный из заводских кирпичей, чисто выбеленный барак. Медсестру Балжан часто вызывали принимать роды. Он тоже шел с нею. Сидя где-нибудь в передней чужого дома, ел сладости и многократно слышал: «Какая у тебя мама, жаным! Дай ей бог здоровья. Ты люби ее, не бросай никогда...»

Сверстников Казыбек сторонился, ведь любой детский разговор переходил в безудержное хвастовство отцами: «Он у меня знаешь какой!» «А у меня коня на скаку и камчой – раз!» «А у меня мама...» – пытался начать Казыбек, но его перебивали, презрительно щурясь, мальчуганы: «Тоже лезет, ветром надутый!» Тогда Казыбек уходил, забираясь в тальник за домом и начинал: «А у меня мама, знаете, какая! Она все может. Она добрая, самая красивая, самая любимая. И самая смелая, сами знаете. Когда собака сторожа магазина взбесилась, все перепугались, только моя мама взяла ружье и – бац! бац! – готова! – увлекался Казыбек, забывая, что старого пса пристрелил сам сторож. – А еще у нее есть грамота за ударный труд, у нее три грамоты. Одна со знаменем, другая золотая, а третья ... такая, тоже красивая! И мама у меня тоже красивая».

И какая-то не такая. Все-таки она была странноватой, не совсем и не во всем понимали ее люди. К ней относились с любовью, возле нее теснились, а она как бы сторонилась других. Возможно, чувствовала или считала, что ее давний побег и рождение сына без брака и все, что связано с этим, ей никогда полностью не простится. Люди есть люди, даже близкие, даже добрые. Возможно, там, в городе, не случилось с ней что-то очень нужное, оборвалась ее желаемая судьба, но она продолжала жить той жизнью, иной, чем аульчане. Этого не понимал никто: «Может быть, ей нужен был все-таки муж, но звали же... А она все с сыном да с сыном. Куда бы ни шла, что бы ни делала, всюду водила его с собой. И шепталась с ним, говорила так серьезно, как со взрослым человеком. О чем шептаться можно с ребенком? Лучше отослала бы его к детям. Какая-то ненормальная. И вот увидите, соседushки, помяните мое слово, она и сына вырастит каким-нибудь чокнутым!»

Так и рос маленький Казыбек с мамой. Только между ними двоими не было тайн, не было секретов. Все было одним для двоих – и хлеб, и слово, и белый свет. Хотела она этого или нет, все ее мысли, чувства, желания, как луч в кристалле, повторялись в сыне. Казыбек рос, ему исполнилось пятнадцать лет. Он должен учиться дальше, а в аульном поселке лишь семилетняя школа. Казыбек не мог представить жизнь без матери. Всякий намек, разговор на эту тему казались ему оскорбительными. Она знала, что он будет учиться. Именно учиться! И она нашлась. Она повезла сына смотреть самолеты. В пятистах километрах от родного аула у маленького городка был расквартирован авиационный полк. Не столько самолеты поразили Казыбека – он еще не знал ощущения высоты, – сколько сами летчики. Это были мужчины удивительной страны, может быть, страны

Коммунизма. Развернутые плечи, одно перетянута ремнем; темный отблеск голенищ сапог; несуетливые руки; гордые, прямые, со снисходительной полуулыбкой на лице. Каждое движение было полно великого достоинства. Сидя на бугорке перед аэродромом, мать и сын весь день смотрели, как двигаются люди между казармами и самолетами, как стоит и сменяется часовой, как прачки развешивают белье, протягивая веревки между мачтами антенн, как, прежде чем взяться за штурвал, летчик приглядывается к небу – единственному, что есть, что существует для него, как ветер для паруса. А вечером мама, ничего не объясняя Казыбеку, отвела его в школу-интернат над которым шефствовал в том маленьком городке авиационный полк. И он так же молча остался один. Ему было очень больно, но другого уже быть не могло.

Через два года он имел возможность поступить в авиационную школу, но перед ним стояла почти непреодолимая преграда. Так ему казалось. Быть принятым в комсомол – это же нечто такое сверхсобытийное, сравнимое только со вторым рождением. Время комсомольского собрания, на котором должны рассмотреть его кандидатуру, близилось. Нужно было написать автобиографию, но он не мог решиться написать об отце без согласия мамы. Ведь это была их тайна. И он написал о Маме. На тридцати страницах, и все лишь о том дне, когда она привела его к аэродрому. Перед собранием его отвели в сторону, велели быстро набросать новую автобиографию, а исписанные листы о маме забрал с собой толстый, тяжело дышащий газетчик с фотоаппаратом, ничего не сказав Казыбеку, и даже не взглянув в его сторону. Говорили, что он пишет книгу об авиации, и это возвышало его надо всеми. Казыбек ни на что не надеялся, но его приняли. Из двенадцати кандидатур прошли голосование двое, он оказался вторым. Юноша был ошеломлен. Он будет летать! Об этом надо было говорить, рассказывать, обсуждать, сомневаясь и торжествуя, осмысливая и мечтая, но он не мог. Ходил по школе, по улицам к аэродрому и обратно, сосредоточенный и немой. Желание говорить о своей победе не проходило, усиливалось, тревожило его, а кругом, уже через час после собрания, все стало будничным, и будни эти казались ему вчерашними. Наконец он ясно осознал: Мама. Ведь только ей он умел раскрывать свои чувства и мысли. И тогда он первый раз убежал домой. Километров сорок проехал на попутном грузовичке по пыльной трассе, но дорога стала уходить на восток, и Казыбек, не задумываясь, пошел прямо через сенную степь, исчерченную глубокими оврагами и руслами высохших речушек. Осень была без дождей, но с ветрами и морозцем. Первую ночь он переждал в полуосыпавшемся мазаре, на рассвете мог вернуться назад к тракту, но, нетерпеливый и неистовый в своем желании увидеть маму, говорить с ней, пошел дальше; шел быстро, отчаянно. Его нашли через две недели редкие в этих местах чабаны и отвезли на лошадях в больницу того же маленького городка. Казыбек полуживой бормотал сухими губами лишь одно слово: «Суюнши... мама, суюнши... мама...».

Капитан Холодный, выйдя на крепко сбитое крыльцо, не задумываясь, не ставя перед собой особой задачи, мгновенно, как матерый волк, оцепенел и задрал голову. Выть на луну, правда, не собирался, а только прищурился. Сейчас небо ему не понравилось: заснеженное, низкое, с суетливым, дерганым ветром. Кружившиеся вокруг него в нехитрых спиралях мелкие снежинки вдруг напомнили ему хаос звезд в ночных полетах и то, что он никогда, даже в мыслях, не связывал конкретную карту звезд с земной чувственной явью. А вот надо же – снежинки, тающие на лице, задели его предсердие. «Дядя Игорь! Снежинки – это звездочки упавшие с неба?», – родному братишке Холодного четыре года, ему же самому шестнадцать. «Я тебе не дядя», отвечает юноша с пробившимися усами. «А почему ты маму никогда не называешь мамой, а Ниной?»

Игорь Холодный родился в Кутаиси, там он учился говорить и среди грузинской ребятни была словесная путаница: по-грузински «мама» означало «отец». Затем семья Холодного переехала в Москву, но мама для него навсегда, до самой ее ранней смерти осталась Ниной. И сразу же вспомнился старшина, передавший ему то малое, что осталось после гибели его братишки. «Зачем все это?» – подумал тогда капитан Холодный. – Пригодится только месть, а это трагические сентиментальности». И с этой минуты им стала руководить не только лютая ненависть к врагу, но жесткое недовольство собой и своими боевыми товарищами за то, что еще не смогли стать идеальными, сверхидеальными механизмами для уничтожения фашистов. «Да что я, абрек, что ли? Почему во мне только чувство мести и только месть? Я – человек, но они не люди». А может быть, его жизнью всегда руководствовала ненависть, только раньше она пряталась где-то под коренными зубами? Но ведь он любил. Любил брата, мать. Людей. Конечно же, да. Он всегда стремился к людям. Даже с Петровым был однажды на рыбалке, на Каме, в тридцать девятом... точнее – в августе тридцать девятого. Они обсуждали тогда предполагаемую покупку Петровым автомобиля, поговорили вообще о машинах. Но потом, через месяц, в сентябре, арестовали группу высших офицеров, у одного из которых Петров собирался купить «форд», привезенный им из-за границы. Потом уже не разговаривали.

Капитан Холодный вошел в столовую, долго пил чай, просматривая старые фронтовые и армейские газеты. Недалеко от него ужинал майор Петров. Холодный встал и направился к нему, сел рядом на пустующий стул, закурил и долго смотрел, как тщательно и аппетитно прожевывает Петров каждый кусочек жаркого.

– Алеша, – наконец сказал Холодный, потянулся... и спросил. – Как живешь-поживаешь?

Алексей Петров, не скрывая своего искреннего удивления, открыто уставился на капитана и, встретив прямой, вполне дружеский взгляд, смутился и неуверенно ответил:

– Хорошо, товарищ Холодный, – и разозлился от непривычного и поэтому казавшегося лицемерным тона своего ответа. – Какого черта, капитан?!

Но капитан Холодный лишь с интересом и мягко спросил:

– Вкусно?

– Вкусно, – ответил Алексей Петров.

– А мне что-то не очень. Пережарили, – продолжал тянуть Холодный, уже понимая, что открытого сердечного разговора не будет, но его несло. – Видишь, один чай пью... Алеша, а Алеша?

– Вы о чем, товарищ капитан? – Петров отчетливо почувствовал изменившийся настрой товарища давних лет.

Стоило бы ему добавить: «Брось, Игорь, валять дурака», и они бы разговорились, как прежде, многое сказали бы друг другу о тех, кто погиб, и о себе, и о доме, о победе – самом важном. Нашли бы ответы на многие свои тяжелые мужские вопросы.

Петров, как штабной работник уже знал, что в ходе операции «Кольцо» с соединением советских войск 26 января в районе Мамаева кургана были разгромлены двадцать немецких, 22 румынских, 20 итальянских, 10 венгерских дивизий и маленьким довеском – хорватский полк. Победа в Сталинградской битве была налицо. Но хотелось еще праздника – так мрачно было на душе.

– Алеша, ты ведь должен знать... – Холодный уже смотрел с ленцой в сторону.

– Что именно? Мне надо идти, – недовольно попытался уточнить Петров.

– Алеша, будь хорошим, скажи, когда будут подписывать капитуляцию?

Петрову было известно только то, что генерал-полковник Ф. Паулус находится в штабе фронта в Заварыкине у представителя ставки маршала артиллерии Воронова. Но говорить об этом он не считал нужным.

– Товарищ капитан, – почти шепотом, но отчетливо проговорил он. – Вы с ума сошли. Вы осознаете, что спрашиваете? Вы понимаете, как сейчас пристально за этим следит враг? И что даже малейшая утечка информации может облегчить противнику проведение диверсий и срыв намеченного акта?

– Алеша, я понимаю. Но я же свой, я никому не скажу... честное слово.

– Перестаньте паясничать, капитан Холодный! – Алексей Петров допил стакан компота, поправил на себе пояс с ремнями и бросил, уходя. – Счастливого оставаться.

На крыльце столовой Петров остановился. От левой лопатки сквозь плечо и ладони протянулась распаленная вольфрамовая ниточка боли. Петров всегда старался скрывать, что страдает стенокардией. Знали об этом всего несколько человек, оказавшихся на даче известного авиаконструктора, где произошел у Петрова крайне сильный сердечный приступ. Обошлось, но Петров долго не мог успокоиться и делал все, чтобы

об этом забыли. Кто же был тогда свидетелем его позорной слабости? Игнатьев, Вокосин, Франк... Господи! Ведь все они уже погибли, расстрелян и авиаконструктор. Говорили, как японский и британский шпион. Нет свидетелей! Кроме Игоря Холодного. Жена Петрова тогда в испуге проболталась по телефону супруге Холодного, они общались. Сам Холодный делал вид, что ничего не знает.

– Что, сердце? – донесся до него из-за плеча голос Холодного.

– С чего это ты так решил?

– Шея побелела.

– Да... что-то мотор того..., – вдруг с удовольствием признался Петров и удовольствие это исходило от осознания того, что есть еще человек, которому можно пожаловаться на такие дела.

– Пошли, в пульту распишем.

Петров знал, что офицеры полка играли в преферанс, слышал, о больших выигрышах и проигрышах. Сам он игру в карты на деньги не одобрял. Почувствовав, что он, штабной офицер, слишком стал сближаться с командиром эскадрильи, Петров, сам от себя не ожидая, сказал недозволенную, но, несомненно, отторгающую вещь товарищу:

– Смотри, снова часы не проиграй.

– Какие часы? – удивился капитан Холодный, проходя мимо майора Петрова. – Мои при мне.

«Хочет забыть о гибели брата или придуряется?» – подумал Петров.

Долго думать не пришлось – еще горевшая тонкая боль в его сердце настаивала: «Хочет забыть. Может, лучше и забыть».

– Знаешь, Серега, – после долгого молчания сказал Казыбек, – есть у нас в ауле старик, жырау...

– Какой? Жырный, что ли?

– Да, нет. Ну, как объяснить, жырау это такой... ну, там всякие былины поет ... старинные.

– Кобзарь, что ли?

– Наверное. Ну, в общем, он там всякое напевает, что было когда-то, ну давно, в давние времена. О богатырях, о ханах и битвах. Я любил его слушать. Бывало, он по десять-двенадцать часов пел и играл на кобызе.

– На чем?

– Ну, на инструменте таком, на нем, как на виолончели, играют. Смычком.

– Ну и что?

– Да нет, ничего. Но вот я из песен его запомнил. В общем, если заканчивается какая-нибудь битва, то на родину посылается гонец с вестью о поражении или победе.

– Ага, понял. Это у всех так. Вот у греков, знаешь, марафонский бег откуда взялся? От такого гонца. Его послал какой-то там полководец. Добежал и упал замертво, но о победе успел сказать.

– Вот-вот, только у нас гонец обязательно должен кричать слово одно: «Суюнши!»

– Не понял, что кричать?

– Ну, «суюнши». Не знаю, как переводится. Ну, например... то есть примерно так: «Радуйтесь!» Ну и конечно, намек: мол, давайте вознаграждение за радостную весть, ну, подарок какой-нибудь. И конечно, гонцом мог быть только сильный, упорный и смелый мужчина или парень. Хотя, я так думаю, парней на войне нет, все, кто воюют, – мужчины.

– Это точно, – кивнул Кобалевский. – А то Холодный нас за пацанов держит. И я свою суюншу до дома донесу, это как пить дать, клянусь, будет время.

Дверь широко распахнулась, вошел капитан Холодный. Сбросил с себя куртку, постоял так с минуту, держа ее одной рукой за ворот. Неясно было – отчего он так стоял, и только резкое движение его руки, накинувшей на гвоздь, торчавший из стены, куртку, выдало в нем предельную злость и сосредоточенность.

– Всем спать. Подъем в пять ноль-ноль, – приказал он ровным голосом.

Через полчаса капитана Холодного вызвали в штаб полка. Через полтора часа эскадрилья капитана Холодного, получив задание, ожидала приказ вылететь в бой.

Первого февраля в восемь часов тридцать минут начался массированный артобстрел северной группировки противника, оставшейся за кольцом. Казалось, там земля вновь разорвалась, и огненно-кровавая магма ее вырвалась из недр, пришивала небо раскаленными вольфрамовыми нитями к краю земли. Более суток ожидали летчики приказа на взлет, они сидели в застегнутых комбинезонах и ждали. Капитан Холодный не раз выходил на взлетное поле, придирался к механикам, охране, словно они были виноваты в том, что он до сих пор не в небе. Ребята его эскадрильи, бесконечно уставшие и отупевшие от замкнутого хождения по комнате, принялись мелочно браниться, злясь и обижая друг друга. Но входил капитан, и все замолкали, продолжая коситься друг на друга, да и на Холодного тоже. Когда наконец поступил приказ эскадрилье вылететь и на взлетных полосах раздалось:

«Контакт!».

«Есть контакт!». «От винта!» – вдруг доносившиеся с северо-запада грохот и гул исчезли, и наступила тревожная тишина. Тишина была настолько глубокой и огромной, что, казалось, остановилось время.

Взлетая, Казыбек, испуганный этой тишиной, уставился на циферблат часов, стрелки не двигались. Эскадрилья уже взяла направление за Волгук, на северо-запад, когда по радиации до капитана донесся срывающийся голос майора Петрова:

– Игорь! Игорь... Возвращайтесь! Все уже. Только сейчас передали: капитуляция! Паулюс подписал о безоговорочной капитуляции всех армий под Сталинградом. Слушай, черт! Да возвращайся, тебе говорят,

потолковать нужно...

Самолеты эскадрильи Холодного в эту минуту игрушечно замерли в небе, словно подвешенные к солнечным лучикам, а затем от них в сторону, к востоку отделился самолет капитана Холодного и понесся показывать фокусы: бочка, петля... За ним второй самолет, третий... Впервые за долгое время он, как птица, только наслаждался полетом, будто не было войны, земли в окопах и блиндажах, смерти.

Казыбек, кричавший во всю глотку в кабине своего самолета «Суюнши! Суюнши!», с этим же выскочил на крыло приземлившегося на матовый лед озера, на пологом берегу которого стелился покатыми крышами поселок, знакомый и неузнаваемый. Как он здесь очутился – он от радости не помнил. Победа! Капитуляция!

У первого дома он увидел старика. Старый человек затряс жидкой седой бородкой и испуганно поспешил уйти прочь.

– Маке-ата! – крикнул Казыбек. – Да постойте же Вы!

Аксакал остановился и, став боком, а когда военный подбежал к нему, сияя яркой улыбкой ребенка, спросил недоверчиво:

– Ты казах? Или просто говоришь на казахском?

– Это я, Казыбек! – восторженно ответил летчик. – Не узнаете? Суюнши, Маке-ата!

– Казыбек? А-а, сын Балжан.

– Победа! Разбили немцев под Сталинградом!

– А убить сразу не могли?

– Убьем!

– Значит, Гитлеру еще не конец? – Маке Говорливый огорчился.

– Да почти конец! Мы целую группировку его армий разбили!

– А много у него еще осталось армий?

Восторг Казыбека стал остывать на морозном ветру.

– Не знаете, моя мама дома? – огляделся он по сторонам.

– Нет ее.

– Как нет?! – испуганно произнес Казыбек.

– Уехала твоя мама, еще неделю назад.

– Куда уехала? Мама?

– Да, уехала... – неохотно подтвердил старик. – Села в сани да поехала в Урду. У Боранбая сын погиб. Кто знает, где его могила, незабвенного. А ведь ему, как и тебе, семнадцати не было.

– Мне восемнадцать, – растерянно произнес Казыбек. – Как же так? Я здесь, а она ...

– Пойдем в дом, – пригласил вяло Маке. – Пошлем человека, через день-другой назад вернется.

Ни шагу назад. А ведь он приземлился в тылу, практически бежал с фронта! Как дезертир, даже хуже. Как малодушный мальчишка, маменькин сынок! А ведь товарищ Сталин...

О товарище Сталине, бежавший обратно к самолету, Казыбек не успел

додумать. Теперь все его внимание было сковано замигавшими приборами, заколебавшимися стрелками на шкалах.

Старик Маке смотрел, как исчезает среди облаков самолет и с досадой сообразил: «Эх, не спросил он у этого парня, не видел ли он там, на фронте, его сыновей, ребята они видные, известные, даже с медалями. А ему сверху много войск должно быть видно».

Если угодно людям, продолжу. Прибывшего с важным поручением летчика, оказавшегося нашим Казыбеком, провели в дом представителя власти, то есть в мой дом. Конечно, люди не узнали его сразу, солдаты все как будто на одно лицо. Ну, поставили казаны на огонь, овцу выбрали пожирнее. Государственное лицо от самого товарища Сталина и товарища Калинина у нас в гостях, а как же! Тут же мы разослали во все концы джигитов на лучших скакунах с великой вестью, а к матери Казыбека направили особого человека. Сердце матери нежное уж очень, может разорваться и от радости. Но не мог он дожидаться ее, должен был лететь дальше, на Берлин. Проводили мы его, уходил он снова от нас. Но чувствовал я, что он ждет от нас большего, и тогда я сказал: «Казыбек, подойди к нам. Вижу, ястреб улетаёт от нас с тяжелым сердцем. Не спеши, выслушай нас, так издавна ведется в степи. Мы видели, как омрачилась радость ястреба, а вместе с нею и наша. Лишь звереныш и грудной ребенок не поймут твои чувства, но и они способны почувствовать их. Ты не встретился с матерью, и мы уверены, что там, вдалеке, она встретила это утро с болью в груди. Как счастлива была бы она увидеть тебя! Но поверь мне, в этом есть провидение, ей трижды было бы тяжело, встретив, снова проводить тебя на смерть. И сердце ее сейчас обливалось бы кровью, а солнце скрылось бы от нее на долгие дни. То, что зримо и осязаемо, острее переживается человеком. Возможно, она предчувствовала твой прилет, но не могла она не поехать туда, не разделить горе близких ей людей. Такая уж она, ко всем у нее отзывчива душа. Как не понять, что ты летел к нам не только с радостной вестью, но и лелеял в своей душе мечту увидеть маму? Но, сынок, разве ты не встретился с ней? Разве эта Земля не твоя Мать? А любовь и ласку матери разве мы не вынесли тебе навстречу? А степной ковыль вокруг разве не ее седина? А хлеб в наших домах разве не хранит тепло ее рук? Но даже если близорукость юности мешает тебе увидеть ее здесь, разве только твоя достойная мать может назвать тебя своим сыном? Ты и наш сын! Сын народа! Никогда не отрекайся от своего народа! Иначе твоя родная мать отречется от тебя. А теперь лети, ястреб, и помни о встрече с матерью и пусть память о ней прибавит тебе силы и сохранит от ран и печали. Так я сказал, и было видно, что он был поражен открывшейся ему сутью истинной встречи с Матерью. Видно было, что никогда Казыбек не воспринимал себя таким нужным людям. Он летел к Маме и встретился с Матерью. Понятно, что сразу достойно он ответить был не в силах, но и, молча, улететь он не мог. И чтобы все же как-то выразить преданность и любовь людям, живущим на его земле, он ответил шуткой: «А как же

суюнши? Будет ли награда за принесенную весть?» И когда люди услышали эту задиристую, свойскую фразу, то вздохнули с облегчением. Они ожили и одним потоком потянулись к Казыбеку, к мальчику нашему, кто-то даже крикнул радостно: «Е-е, да этот парень не промах! Сразу видно, что наш!» А тут и мать Казыбека приехала, обняла сына. О, Алла-Тагала... Наверное, еще где-нибудь там летает, в высоких городских домах живет. Летает, конечно: народов на Земле много, всем сразу и не сообщить, что мы победили.

У нас в народе принято считать человека, прожившего девяносто шесть лет, столетним старцем. И память сохранил. Правда, что касается людей, стала она немного потертой. Вот, к примеру, не могу вспомнить: была ли саврасая лошадь у председателя совхоза товарища Жолдыбаева или нет, а о странной якобы семейной жизни этой Балжан – медовой душе, не забыл. Не знаю и за что, но все ее любили, хотя была... чуть помешанной. Настолько, что судить о ее разуме-уме способны лишь сорок странников, которые знают. Отчего-то она после девяти месяцев со дня смерти мужа решила, что у неё родился сын. Колыбельку выпросила у одной старухи, все дети которой померли во время войны красных с белыми. И стала покачивать ее и колыбельные петь. Пела, никому не мешала. И народ ей не мешал – жалели. Больше того, через лет семь-восемь взяла и заявила в школу, где потребовала взять в класс своего не существующего сыночка. Грех один. Учительницей тогда работала ее двоюродная сестра, тоже бездетная жена Амана. Пожалела и записала в свои ученики. А еще прошло время – лет так десять, эта медовая притвора заявила, что отвезла сына в город Орск учиться на летчика. Даже письма стала получать от него. Сама, небось, писала письма эти-то. Помню, одно такое письмецо попало и в мои руки. Помню и имя придуманного сына – Казыбек. А зимой, когда фашист дошел до Волги, до Сталинграда даже, еще чуть-чуть и на наши степи заехал бы на своих танках, эта Балжан пропала. Поехала в буран высказать соболезнавание родным. Пришла им черная бумага о гибели сына-солдата. И пропала в снегах. К нам еще тогда специальный посланник от самого товарища Сталина и товарища Калинина прилетал – секретарь партийный. Казах, конечно, из Уральска. С вестью, что фашист под Сталинградом разбит и убит. Обрадовались люди, что до нас он теперь не доберется. Мы того посланника с важным поручением провели в дом представителя власти, то есть в мой дом. Овцу зарезали пожирнее. Для государственного человека надо. Тут же мы послали во все концы джигитов на лучших скакунах с великой вестью о победе.

